

НАРОДНЫЙ ПИСАТЕЛЬ

Его можно сразу узнать среди многомиллионного столичного люда: стремительные легкие движения, очень вдумчивые глаза, высокий лоб, окладистая седая борода, теплота в рукопожатиях и в словах... Кажется, он движется не по Тверской многошумной улице Москвы, а среди своих вятских лесов, полей, речек и озер, и когда говорит — так и сквозит в прекрасной его русской речи вятский говор. А ведь в Первопрестольной Крупин не одно де-

сятилетие, и должно было появиться московское аканье... Русский писатель улавливает мое удивление и признается, что когда долго не бывает на Вятке — заболевает, и жена советует поехать на родину...

— И вот я, — говорит Владимир Николаевич, — седой человек, издавший много книг, проехавший много стран, изъездивший и исходивший родное Отечество с запада до востока, всюду избиравшийся, занимавший много высо-

ких постов, сижу у печки детства и вижу, что вся жизнь мне как будто приснилась, а было только детство. Земля предков, где вывел меня на свет Господь и впервые дал мне язык, любовь, слезы, царапины... Кстати, именно в детстве я понял, в чем мое призвание, и в пятнадцатилетнем возрасте доверил дневнику: «Через 10 лет стану народным писателем». После клятвы походил по родным половицам, повздыхал и написал: «Не через 10, а через 15 лет стану писателем. Для того и живу...»

...А познакомились мы в Москве в 2003 году на лестнице Центрального телеграфа. Я набралась смелости и попросила Крупина дать мне интервью. После первой встречи я еще не раз брала у него интервью, а когда приглашаю на выступления, вижу, как жадно ловят каждое его слово и дети, и взрослые. Буквально недавно он, блистательный рассказчик, вдумчивый слушатель, дипломат и тонкий психолог, захватил старшеклассников из аэрокосмического лицея имени Громова с пер-

вой секунды встречи. Это был живой разговор по душам в переделкинском музее-галерее Евтушенко. Думаю, детям из подмосковного Жуковского запомнятся слова русского писателя, последнего из могокан, о Родине: «Для меня Россия — лучше всех, я не понимаю, как можно не любить страну, в которой родится, учился, впервые влюбился... Никакая другая страна не стала родиной Пушкина и Лермонтова, причина их появления — в самом великом, потрясающе звучном русском языке! В нем такое количество синонимичных слов! В американском только саммиты и ваучеры, нет ни ярмарки, ни базара, ни гостинчика...»

А меня все годы нашей дружбы с Владимиром Николаевичем не покидает ощущение, что общаешься с ним или читаешь его книги — будто пьешь живую воду и испытываешь жажду. Еще бы глоточек. Хотя бы маленький глоточек чистоты...

Инна Воскобойникова,

член Союза писателей России, Переделкино

РАССКАЗЫ

Рисунок Марины Медведевой

«О, НЕ БУДИ МЕНЯ, ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ»

ОТРЫВОК ИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

...И хлопни ты, в конце концов, дверь и выйди в свободу этого мокрого, непонятно осеннего или зимнего дня, уйди, что ты теряешь: дни, полные ссор, выяснения отношений, усталости, взаимной измученности, зачем мучаешь жену, ей от тебя давно ничего не надо, а ты еще можешь любить, ты не дописал свое предложение, ты же всегда любил повторять, что каждый человек — это текст, который не им начат, не им закончится, что вся жизнь — только отрывок из предложения, в котором через запятые, тире, многоточия, точки с запятой описывается краткое пребывание в гостях на земле, так что иди по этой земле, пока несут ноги, пока не до конца заполнен сырой, тяжелой гли-

ной бытия, одевайся, обувайся, ничего с собой не бери, иди на кухню говорить прощальные слова, проси прощения, а за что, и сам не понимаешь, конечно, все это для жены привычно, привычен и уход, только не понимает, что это теперь уже навсегда, ничего, поймет, на стены на прощанье можно не смотреть, даже, кажется, и стены отдохнут от твоего присутствия, ну вот, вот и улица и такое вдруг самоуважение, что решился, смог, дал жене свободу, не она ли всегда кричала в отчаянии: как я от тебя измучилась, не она ли требовала, чтобы оставил ее, но вот, пожалуйста; но, дойдя до перекрестка, признайся себе, что твоя решимость не созрела бы до поступка, если б тебе не было к кому ухо-

дать, а ведь есть, а ведь это случилось, а ведь тебя ждут в другом месте, да, брат, трусы мы, мужчины, трусы все поголовно: на медведя идем, а шлепанцы потерять боимся, но вот тебя полюбили, и ты осмелел, такое вот вторжение в текст жизни, такое приключение, да, в общем, не приключение, приключение — это что-то веселое, а тут такая тяжесть, тяжесть, но и... что «но и», спроси себя, пока не позвонил и не сказал, что свободен, и вспомни, как получилось то, что случилось, как подходил к пределу решимости, анализируй, брат, свои дела и мысли, говорят же тебе, что у тебя резкий, охлажденный ум, а вот вспыхнул же, дремала, значит, в нем спящая красавица огня, загорелся и понимаешь: все летит по другой орбите с того момента, как позвонишь и скажешь: жду, и она вылетит из подъезда и скажет, как тогда, в подъезде, что всегда мечтала глядеть на него, запрокинув голову, как на небо, как смотрели на него те прекрасные лица, над которыми он склонялся, но их уже как бы и не было, это не для него, он однолюб, как и жена, как и жена, говоришь, запнулся, братишка, разве не нравились твоей жене твои друзья, да и вообще нет в мире ни одной верной жены, которой бы еще кто-то не нравился, ладно, не ищи долю полегче, тебе не изменяли, изменить собираешься ты, но опять же — разве это измена — это любовь, а любовь в этом мире, лишенном любви, — это вызов миру и спасение его, вот так высоко надо сказать о том, что случилось, а жена, а жена поймет и простит, да, кстати, надо ей сказать, что все равно скоро отставка, то есть казенная дача будет отнята, машина тоже и остальное тоже соответственно, всякие льготы оборонщиков, то есть он скоро будет нищим, и жене его вряд ли вынести, а возлюбленная готова с ним хоть в землянку, где в печурке будет огонь, пусть не навсегда, но хоть поживет в любви, хоть узнает, хоть узнает, что такое мужское счастье, когда изо всего человечества любят только тебя, конечно, желание любви во многом эгоистично, нет же во всем Писании того, чтоб тебя любили, там все про то, чтоб ты любил, вот и люби, и люблю, да и жену буду продолжать любить, ну, тут уж ты зарпортовался, идешь к другой, а думаешь о прежней, ничего себе, слово выскочило — прежняя, это же жена, с которой столько прожито, выстрадано, с тобой же мучилась, да, мучилась, но ведь и я же мучился, а тут что, мучений не будет, будут, но потом, а сейчас уж за то спасибо, как оживился весь, обновился, как сегодня вскочил до рассвета, побежал под душ, долго брился, чем-то прыскался, надевал и снимал рубашки, свитера, подобрал что-то в тон костюму, бывшему на ней в день первой встречи, и вот едет в транспорте, совершенно не поминая, почему не идет время, потом вы-

пал на непонятной остановке и долго шел пешком, очнулся у перекрестка, не понимая, надо ли его переходить, и, конечно, пошел и был чуть не сбит машиной, но, оставшись живым, обнаружил, что время все-таки идет, что пора звонить, а стал лихорадочно покупать вино, торт, шоколад, сердясь на медлительность продавщиц с написанными на груди их именами, и вот — автомат, вот — пошел вызов, вот пошел... в пустоту пошел вызов, не хочет, значит, говорить, раздувала, но ей же должно быть понятно, что это он звонит, что ночь не спал, что намечтал всякого разного, что решил, а вот она, видно, решила другое, думает, наверное, надо ли ей все это, конечно, не надо, не надо ей тебя, спустись на тормозах, пойми, что все запоздало: и снег, и цветы, уходящие под снег, и поздние звонки, и ранние вставания, и мечты, которые сбываются только в мечтах, и несовпадение во времени жизни, и сама жизнь, которая прошла, у него по крайней мере, и у нее пройдет, но без него, в общем, в общем, все справедливо, и догорела уже твоя свеча, все, брат, смешно, а как же ты думал: она молода, умна, прекрасна, еще и деликатна; пожалела, а может, расслабилась, когда обнял ее, увидел шею, грудь, близкие маленькие мягкие, внезапно становящиеся упругими губы, ее шепот, умоляющий выпустить, ее руки, тонкие и сильные, ее интересную бледность, как писали в романах позапрошлого века, и ты думал, что это все тебе, как же, нет, дорогой товарищ, твои женщины прошли, как тени от облаков, они были всех прекраснее, а ты не понял, а когда стал понимать, было поздно, но почему поздно, разве не потянулась она к тебе, разве ты не помолодел под действием чувства, ну да, помолодел.. чувством, а тело, а ушедшие силы, чего уж придуриваться, чего воображать — была у тебя женщина, была, не смог встать вровень с ней, не смог, ну и успокойся, а как ты думал: ухватить у Мефистофеля эликсир молодости и наслаждаться с Дездемоной, смешно, брат, смирись, скрепись, отдай ее будущему, есть же на свете бравый поручик, дуб дубарем, ничего не понимающий в женской красоте, но вот именно он и измочалит ее, истерзает ее нервы, измучает душу, состарится сам, может, еще и поумнеет, но будет поздно, как уже поздно и тебе, поздно, пусть ты мечтал о ней возвышенно, то есть не в том смысле, что будет кому стакан подать, нет, в смысле единодушия, отгнания предсмертной тоски, да, не вздрагивай, предсмертной, а на это молодость не годится, отпусти ее, но... но вначале еще позвони, ты же снова топчешься у автомата, снимай трубку, набирай номер, вставляй карточку, вот, звонки пошли, редкие долгие, вот ответили, — она, да она ли, совсем иной голос, извинения, спрашивает, где я, а где же я могу быть, как не у ее ног, у ее подъезда, рада,

что позвонили, на «вы» говорит, а он же просил быть на «ты», говорит, что сейчас выйдет, но просит еще подождать, еще позвонить, хорошо, буду ждать, позвоню, а чего жду, ее жду, ее, но в эти же минуты он решил, что все затеянное бесполезно, и эти минуты были благотворны, что ж он — не мужчина, может обходиться один, можно же плакать и не в жилетку, и не в женскую грудь, а в церкви, а то, что хотелось — стыдно в его годы, стыдно желать женщину, обладать ею, считая это обладание мужским самоутверждением, надрываясь при этом, стегая свою плоть как заезженную лошадь, страдая, что она притворяется, как ей хорошо, а с чего хорошо, с того, что ты, седой и старый, склоняешься над ней, касаясь сединами шелковых прядей молодой прически, касаясь сухими губами вздрагивающих ресниц, гладких щек, мертвеющих губ, мягкого подбородка, выгнутой шеи и начала непостижимого чуда женской, девической груди, ну вот, представил, и как будто всю облобызал, а сам спокоен, холоден, от того, что в годах, от того, что каждому мужчине дается одна женщина, и не надо выщелкиваться, выдрючиваться, изображать ничего не надо, успокоиться надо и жить дальше, тем более немного осталось, а ей пожелать счастья и благодарить ее, что всколыхнула, что заставила вновь полюбить жену, с которой уже ничего никогда не будет, то есть никакой близости, но будет навсегда теплота душевная, будет счастливое преображение любви в заботу, в постоянные мысли о том, где жена, не плохо ли ей, не забыть бы сходить в магазин, почистить картошку, заварить чай, расспросить о работе, вымыть посуду, подоткнуть одеяло, когда будет засыпать, и любоваться ее лицом, молодеющим от сонных скитаний, разве не была и она такой же красавицей, как его теперешняя любовь, хотя и не верится, что эти глаза, сияющие любовью, могут выцвести, губы — потерять свежесть, волосы — свой блеск, пусть она останется эталоном неувядающей красоты, а он тем, кто оценил ее, пусть запоздало, нет, красота всегда вовремя, тем, кто полюбил в возрасте, явно не предназначенном для любви, хотя вспомни, как она сказала, что решила его спасти, он такой неухоженный, неуклюжий, недоласканный... ничего себе прилагательное — недоласканный... к тому же непонятый, неоцененный, она плакала, говоря, как ей ее, то есть его жену, жалко, но более жалко его, такого милого, неуклюжего, стесняющегося своей неуклюжести, они уедут отсюда, им ничего не надо, у нее есть квартира, все оставим ей, вот прямо сейчас, в чем мы есть, в том и уедем, да, милый, не бойся, ничего у меня нет, был один воздыхатель, но это несерьезно, а с тобой все надежно, основательно и надолго, и замолчала, не дергая ни в какую сторону, а ожидая от

него руководства, он же мужчина, она же женщина, вот на мужчину и надо все навалить, а ему и ноша легка, взять и пойти в ее квартиру, а там и тетка помрет, можно съехаться, кабинет у него будет, халат, все обеспечено, но а жена, жена от него отдохнет, будет рада, сдружится с нею, в ней вернулась к нему молодость жены, красота и спокойствие, а не эта измученность и задерганность, в ней, берущей на себя тяготы жены; куда денешься — мужчина прост по своему строению и беспомощен, хотя умные женщины изображают подчиненность ему, вот и она, глядящая из-под белой пушистой шапочки серыми, непритворными глазами, отгоняющая от них снежинки огромными, наивными ресницами, сводящая с ума вырезными губами, которых он уже однажды коснулся, которые склонялись к нему и шептали торопливые, стыдливые слова покорности и верности, чего тебе еще надо — тебя любят, тебя ценят, тебя понимают, твое сердце бьется, конечно, ненормально, торопливо, ускоренно и, конечно, доколотится до вечного отдыха скорее, чем с женой, но ведь зато — жизнь радостей и взлетов, парения над бытом, разве случайно все эти дни звучит в тебе классика Моцарта, Чайковского, Глинки, Мусоргского, Свиридова, ой, как лицо горит, видимо, от этих противоморщинистых мазей, дай умоюсь снегом, писал же на снегу ее имя, вспоминая юность, и стояние под окном и другие имена, и, особенно, светлое, надежное имя жены, а потом была долгая, мгновенная жизнь, в которой утверждался, что-то хотел свершить, падал, вставал, надеялся, отчаивался, стискивал зубы, уходил в одиночество, выходил в люди, страдал, снова надеялся, верил обещаниям и сам обещал, и наивно думал, что это ты что-то делаешь и свершаешь, а это была жена, ее поддерживающая сила, сила, все истончающая, ее усталый, понимающий взгляд, ее виноватость за немощность, ее изношенность, а он посмел сердиться, хотеть от нее любви, он, чья остающаяся мужская сила сохранилась благодаря жене, и вдруг возмечтал о любви к юной красавице, которой тоже возмечталось соединить свою свежесть с его мудростью и крепким стоянием на земле, вот ведь что, вот ведь какая закавыка — не целовать ему увядших уст жены и не касаться алых губ любовницы, хотя в слове «любовница» корень «любовь», нет, все прошло, и хорошо, что прошло, или ты хочешь все снова: слезы, нищету, нервы, вырастающих в другом времени надменных детей, нет у тебя, братишечка, сил, и хорошо, что нет, иди домой... а куда домой, ты из дома ушел, от детей ушел, от жены ушел, а от любви не уйти, но впрочем, опять же, тем же концом по тому же месту — какая любовь: смятение чувств, сумасшествие, сдвиг по фазе, удар светом в открытую из темноты дверь,

вопрос в том, что от себя не уйти, можно и от любви уйти, сказав себе: а ты забыл, что давно не был на исповеди, какая тебе любовь, тебе, венчанному, ада не боишься, надеешься, что добрые дела зачтутся, спасут, ну-ну, надейся, а не хочешь погибели, нет, не хочу, но вот как еще можно рассуждать: ведь я еще многое должен сделать во славу Божию, во славу России, и в каком же я состоянии больше свершу — в замордованном или в атмосфере понимания, уважения, любви, больше ведь наработаю, больше, да, но лучше ли, или ты уже в такой гордыне, что все тобою делаемое самое важное, да, не мог смотреть на гибель «оборонки», но обязан был смотреть, хоть и в штатском, а офицер, хоть и в НИИ, но оборонном, уже и запивал от отчаяния, жена ругалась, но что жена, чем компенсирует то, что начальство стало шестерить перед НАТО, подмаживать Западу, не один я такой, что коньяк в сейфе держал, а последнее время и водчонка была, и пивцо, и винцо, все годилось, чтоб залить печаль, и вот тогда-то она и подошла, юная такая, вся статная, с косой, что вообще уже было так по-русски, что сбивало с толку, может, телевизор не смотрит, поэтому и сохранилась, конечно, только поэтому, подошла, краснеет, а румянец на девичьих щеках — это как заря спасения, что еще не все добились в нас, что есть еще целомудрие, подошла именно в минуту, когда он двигался к выходу с единственной примитивной целью — добавить к выпитому еще порцию; а его, оказывается, знала еще ее мама, ну еще бы, он же уже ископаемое, смерть Сталина помнит, а ее мама небось при Хрущеве родилась, а уж ты, миленькая, еще и вовсе дитенок, но дитенок этот отчаянно объяснился в любви, потому что, оказывается, она знает его пять лет, а увидела, когда он к ним в патентное бюро пришел, а она еще была дипломницей, а он ей тогда, как и маме ее, очень понравился, вот и все, что ей было сказать, и осталось только снова краснеть и дергать пуговку на кофточке и вдруг, потупясь, уйти и в следующее время не встречаться ему, но почему-то же он в тот день не стал добавлять, а через три дня набрился, намылся, надел пиджак в тон ее кофточке и придумал причину зайти в патентное бюро, а она там, а она веселая и приветливая, и совсем не в тон кофточке, ну да, они же каждый день в новом, а она спрашивает, правда ли, что наши «Бураны» могут взлететь с воды и не секрет ли это, и он отвечает, что это, конечно, секрет, но что, конечно, взлетают, а зачем это ей, американцы уже не купят, у них повсюду платные информаторы, ну вот, поговорили, уходи, а как сказать, а что сказать он хотел, хотел увидеть, вот и он чувствует, что краснеет, вот и он неловко и неуклюже уходит, и что теперь — дежурить у входа, но смешно же: седой, старик почти, ждет де-

вочку, стыдно же в такие годы быть мальчишкой, но как остро захотелось делать глупости, кинуть снежком в окно, написать имя на снегу, купить цветы и послать как от таинственного незнакомца, но ведь все это уже было, и не уловки ли лукавого подстрекают к тому же, уходи, брат, во тьму вечера, горбись в пивной над пластмассовым бокалом с мутным, разрекламированным пойлом, налейся им, бреди по снежной грязи и глаз не поднимай — не смотри на позор и ужас Отечества, захваченного чужебесием, в котором, кажется, не только не осталось любви, но что ее и вовсе тут не было, и опять зайди еще в одно заведение, опять сяди и пей, да еще хоть что-нибудь съешь из пакета, какой-нибудь западный комбикорм, который не ест даже бездомная собака, лежащая в сыром углу и страшащаяся того, что скоро ее выпинают, — вот, брат, какая же ты собака, которой осталось только одно — дожить срок, и все, а ты вот еще умудрился влюбиться и возмечтать о счастье понимания и женской красоте, уходи, но он не учел, что не только он один хотел встречи, что и она была такой же железной опилочкой, что и он, которую так же тянуло магнитом уже общего их чувства, она выбежала из проходной за секунду до его ухода, и вот, уже идут вместе, вот поскользнулась, надо под руку взять, в конце концов подумают, что дядя племянницу или отец дочку ведет вежливость, в конце концов, Конституция не запрещает даму под руку поддерживать на опасном месте, а закончилось одно опасное место, скоро и другое, тут и ступеньки, тут и музей, тут и выставка русского портрета, ну как не зайти, интересно же, зашли и стали смотреть, какие же красивые, умные, одухотворенные лица, теперь таких нет, как нет, возразила она, у вас ничуть не хуже, вы такой красивый, я всегда любовалась, спокойно говорит, а его в жар бросает, а у него ботинки не очень блестят, а у него стрелки на брюках не очень обозначены, ладно, есть же вежливость, что ж старичку доброе слово не сказать, а он в ответ возьми и брякни, что все эти красавицы и красавцы, которые смотрят из прошлого, все они уже... как сказать, в сырой земле, всех их нет уже, ну да, были, были, но вот так и все мы уйдем, да, не сразу, вам, ну хорошо тебе, тебе еще жить и жить. А мне пора собирать пожитки, да нет, не утешай, какой расцвет, да неужели же мужчины моего поколения — последние, кого можно любить, говорил, а сам уже открыто любовался ею, о, как спокойно и весело она выдерживала конкуренцию с красавицами на портретах, была много прекраснее их, еще бы — живая, а ресницы какие, а глаза, глаза и заботливые, и ласковые, и уже смелые и даже... даже и слова не ссыкать, подстрекающие к смелости, так, что ли, непонятны женские глаза, никогда не под-

бирал эпитетов, не дело это конструктора оборонной техники, это пусть писатели пишут, поэты сочиняют, но ведь не одним же поэтам любить, они и так довольно навредили нам в своих трудах, загуляют, например, понимаешь, а перед женой стыдно, давай ее воспевать, так же и художник, преувеличивает красоту, льстит, женщине и лестно, и думает, что и в самом деле такая, да нет, я не насмешливый, проще же все, а что проще, проще то, что полюбил и все, то есть, по-русски говоря, втюрился, въехал, и не выехать, а потом опять улица, отказ от «посидеть» в ресторане, от кафе, пивную не предлагал, поехал провожать и вот, в подъезде, как студент, набросился с объятиями и поцелуями, все было так внезапно, откуда взялась такая решимость, что-то, видно, без их участия готовилось и заявило о себе, а сердце как билось, а что там бормотал, что она бессвязно шептала, ничего не вспомнить, и какие там годы, когда так больно и сильно, и смело обнимала она, и когда он вышел в заснеженный двор и лягнула за ним черная железная дверь, оказалось, что уже полночь, что ему уже все равно, полночь или полдень, он понял, что жить без нее уже не сможет, как и она без него, такие дела, а жена представилась как человек, которого надо выпустить из клетки, в которой она билась всю жизнь, оставить ей все, что нажито, он еще наживет, стоп, ничего он уже не наживет, его уже скоро попрут из НИИ, нуждаются не в нем, в его голове, уже намекали, что переведут на договор, а это такое унижение — ждать договора, лучше он пошлет им по почте свою умную голову, все равно он ее уже потерял, все равно она мыслит только об одном, как бы упасть в ее колени, во власть ее рук, покорствоваться ей во всем, потакать, удивлять и радовать, жить только ею, но уж

ЖЕРТВА ВЕЧЕРНЯЯ

И кто возразит, что в прошлое заглянуть труднее, чем в будущее? В будущем одно: Страшный суд, а в прошлом все то, что его готовило. Жил я среди грешных людей, сам грешил, да еще и себя оправдывал: все такие, даже хуже. Но уже одна эта мысль говорит, что грешнее всех был я. Адам, сваливающий вину на Еву, был грешнее Евы.

Все теперешние мои вечера соединились в один вечер, в вечер моей жизни. Давай, брат, попробуем, пока

ОТЕЦ В КОНЦЕ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ

Отец мой настолько переживал за все происходящее в России, что даже не мог уже ни читать газет,

в ответ ждать, даже требовать, чтоб только о нем одном она думала, им одним жила, строили любые свои планы только с учетом его присутствия в ее мире, его одного ждала, молилась и на него, и за него, разве много он хочет за то, что все бросает к ее ногам, да даже и не надо этого чувства власти над женщиной, уже одно то, что он оказался способен к любви, к просыпанию среди ночи, учащенному биению сердца, — это ли не награда тебе, седой юноша, и пусть немного тебе осталось, гори костром, она будет тебе верна, не ты ли сказал ей, что тебе безразлично, кто у нее был до тебя и кто будет после тебя, лишь бы при тебе был только ты, тем более ты ни у кого ее не отнимаешь, она тебя любит уже давно, а жена, а жена, что, брат, буксуешь, скажешь, что жена — прочитанная книга, оконченный текст, так, что ли, да нет, не так, вот интересное русское сочетание: «да нет», тут что да, что нет, неясно, а ясно одно — надо звонить, надо жить дальше, хотя есть и третий выход — уйти от обеих, уйти вот в этот переулочек к далекой светлой точке пивной, уж там-то явно люди тебя понесчастнее, у них проблемы посложнее, а у тебя в двух местах постели с чистыми простынями, ну, так чего, будешь звонить, и кому: жене, что погорячился, или ей, чтоб выскакивала из подъезда и кидалась на шею, нет, походи еще по тропинкам, обнажи шальную голову, умойся теплым снегом и думай, голова, думай, среди этой погоды, неверной и непостоянной, как все сейчас в этом мире, — но почему все, а любовь, любовь постоянна, — все рушится: оружие, власть, деньги, идеология, а любовь в ответ на все эти крушения только крепчает, и та, что выдержана временем, и та, что еще только начинается, звони, скорее звони...

есть силенки, отвязаться от того, что вспоминается внезапно или помнится постоянно, то есть уже мешает. Пора свой дом подметать. А сколько прожито, сколько пережито! Как пелось в моряцкой песне: «Эх, сколько видано, эх, перевидано, после плаванья в тихой гавани вспомнить будет о чем». Но не получилось в старости тихой гавани, да и перевиданное пригодится ли кому? Это же только мечтается, что чужое знание пригодится в «быстротекущей жизни». Каждый себе свои набивает шишки.

ни смотреть телевизор, ни выходить на улицу. Везде, во всем он видел знаки падения страны и ее насиль-

ственного разрушения. В газетах хвалят именно то, что убивает Россию, по телевизору показывают, как это делается. Выйдешь на улицу, эта гибель уже здесь: девочки идут в штанах, курят, парни матерятся, на ходу хлебают из бутылки.

Обычно отец сидел у окна на кухне и молча курил.

— Пап, ты сам-то куришь много.

— Так сколько мне, сколько им? Да я и не взятяжку. А когда я закурил? В войну, от голода. — Смотрит, как дымок утекает в форточку, провожает его взглядом, тушит сигарету, встает. — Волокут Россию



к эшафоту, еще только петлю накинуть. В войну было легче.

— А чем было легче?

— Сволочей и подлецов не было.

— Я уверен, что были.

— Были не были, а обязаны были поступать, как все. Эх, матушка Россия! Коротко нас запрягли, крепко зауздали. Тронули шпорой под бока. Но вот тут-то мы и не поехали!

Опять закуривает. Успокаивается.

— Тут главное ремешок затянуть. А это мы можем.

— То есть не смогут нас захомутать?

Отец загадочно отвечал:

— Да где-то близко к этому.

ТЫ РУССКИЙ? ЗНАЧИТ, ТЕБЕ ТЯЖЕЛЕЕ ВСЕХ

Русских, сильных, умных, самостоятельных не любят. Все же хотят быть сильными и умными. А не получается, как у русских. За что ж русским даны сила и ум? Оттого на них и клеветают и злобствуют. Русские и такие, русские и сякие. И какая еще нация, кроме русской, выдержала бы многовековое глумление над собой? То ли мы привыкли, то ли считаем, что так и надо, и за издевательства не мстим. Это уж когда явно начинали приставать и вторгаться в русские пределы цивилизованные дикари Европы и Азии, тогда пришлось им давать по морде для образумления. И тут же их и жалеть. Кто еще такой в мире, как русские? Жалеть врагов? Да, жалеем. Но дожалелись до того, что уже ненависть к России поселилась в ней самой. Россию ненавидят те, кому она дала приют, образование, работу. Всегда русским было труднее, чем инородцам, пробиться в жизни. Попробуй еврея в вуз не принять, и не пробуй, и без тебя примут. А русского оттолкнут и дальше пойдут. Это отпихивание я испытывал многократно. Но, как русский, не обижаюсь совершенно. Те, кто отпихивал, где они? Всегда ощущал я в своей судьбе некую руководящую силу. Даже и называл ее строчками из стиха Бунина: «Некий норд моей судьбою правит, он меня в скитаньях не оставит, он мне скажет, если что: «Не то»». Этот «некий норд», воцерковившись, я стал именовать Господом.

Идеологи стеклянного телепространства внедряют в умы глотателей телепищи образ России совсем не русский. Смелые, честные, жертвенные русские люди

изображаются трусами, ворами, стукачами. Особенно усердствуют киношники. Особенно это раскручивается в показе советского периода. Я его свидетель, я выросал в советское время, создался в нем как личность, и меня глубоко оскорбляет твяканье либеральных писак и либеральных радио- и телетрепачей. Страдание мое в том, что ими воспитаны такие потребители журнальной, газетной, радио- и телепищи, что читатели и зрители, как наркоманы, уже не могут без нее, непрерывно ее глотают, кой-как переваривают и испражняются ее остатками на историю Отечества.

Русские — трусы? Ну, ребята. Непрístupный Измаил брали, конечно, нерусские. Шестая рота псковских десантников могла уклониться от боя с бандитами, которых было многократно больше?

Русские — воры? Да где вы, в России ли вы живете? Кто вас обирает, обкрадывает, кто придумал воровство приватизации? Лично я выросал среди селений, избы которых не знали замков. Войдешь — хозяев нет, напьемся воды и идешь дальше.

Стукачи? Нет, во все времена внедрялись в русскую жизнь чужаки. Слухачи, доносчики сочиняли нужные властям сведения на того, на кого указывали. Почему же Ленин и Троцкий после захвата России торопливо заставляют еврейских комиссаров и вообще евреев брать русские фамилии, почему же убийственные декреты об уничтожении священства и русской интеллигенции подписывает русский выкрест Калинин?

Увы, не всегда у нас в первых лицах России были Александры Невские. Но не хочу и против любых властей ничего говорить. Чтоб было понятнее, спрошу: нужна ли власть? Да, нужна. Пусть плохая, но она лучше анархии. Но чтобы трястись перед ней как осинке? Ни за что. Лишаете меня должностей, привилегий, плевать! Отлично помню, не выдумал же я, переделку многих официальных лозунгов и идеологических штампов. Сталин сказал: «Жить стало лучше, жить стало веселее», тут же мгновенно пошла в разговоры переделка: «Жить стало лучше, жить стало веселее, шея стала тоньше, но зато длиннее». Конечно, не орали на площади, но в общении меж собой такие шутки были повсеместны. Или этот масонский лозунг, мечтание большевиков о мировом пожаре: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», и все знали его продолжение: «...ешьте хлеба по сто грамм, не стесняйтесь!». А уж про серп и молот шутки были похлеще. «Это молот, это серп, это наш советский герб, хочешь жни, а хочешь куй, все равно... ничего не получишь». Или элегическое: «Ну зачем, скажи мне, Петя, если так живет народ, по долинам и по взгорьям шла дивизия вперед?»

А частушки? Боже ж ты мой! В какие же, по мнению либералов, глухие времена культа личности слыхивал я и певал лихие куплеты, например: «Ленин Троцкому сказал: “Пойдем, милый, на базар, купим лошадь карию, накормим пролетарию”». Или: «На бочонке я сижу, под бочонком кожа. Сталин Троцкому сказал: “Ты жидовска рожа”». Кожа тут, конечно, только для рифмы. Или предсказание: «Эх, кáлина, эх, мáлина, убили Кирова, убьют и Сталина».

В открытую анекдоты о властях начались... да, со Сталина. И частушка была, которую, думаю, вождь

знал: «Сидит Гитлер на березе, а береза гнется. Посмотри, товарищ Сталин, как он навернется». Это из серии: «Сидит Гитлер на березе, дальше, например... плетет лапти языком, чтобы шившая команда не ходила босиком». А уж про Никиту анекдоты травили по всем райкомам и обкомам. Он их и сам любил. К нему часто ходил первый председатель Союза писателей России Леонид Соболев, он перед визитом требовал у подчиненных вооружить его анекдотами: «К Никите иду, с порога спросит». Брежнев умирал под анекдоты о своем маразме. «Крупская спрашивает: “Леонид Ильич, вы помните моего мужа?” — “Товарища Крупского? Ну как же, как же”». А уже сменяющиеся часто Андропов, Черненко и анекдотов не заслужили. Нет, вспомнил один про Андропова. Ему докладывают: «Мы создаем камерный оркестр. — На сколько камер?» А Ельцина и Горбачева и без анекдотов за правителей не считали.

Соотношение личности и истории надо выверять применительно к духу народа.

Недавно на Северном Кавказе один горец говорил мне: «Люблю тебя, другому не скажу. Вы, русские, всегда не умеете жить и всегда вами командуют. То варяги, то монголы, то немцы, то большевики, то коммунисты, сейчас евреи. А вы хороший народ, мы вас выручим, будет большой, во всю Россию халифат».

Да уж, только халифата нам не хватало. Но кавказец точно заметил: мы не то чтоб не умеем, но не любим командовать. Даже начиная со школы. Сидишь на классном собрании и под парту лезешь, чтобы никаким звеньевым не выбрали. Но что сие означает? Когда надо — у нас и Суворовы находятся, и Ушаковы, и Нахимовы, и Денисы Давыдовы.

ПРИЧАЛ В ХАНОЕ

Американским воякам во Вьетнаме привезли для их обслуживания проституток. Целый корабль. Корабль потом понадобился для вывоза наворованного, а проституток просто оставили. Они быстро оголодали, оборвались. Предлагали себя вьетнамцам, те их гнали от себя, били. Наши с ними тоже не общались, но по-человечески, по-русски, жалели. Давали еды. Даже зара-

нее побольше готовили, зная, что проститутки придут.

— И вот интересно, — говорил мне свидетель этого факта, — ведь были же среди них и привлекательные, на все готовые, но представить, чтобы вот я, или вообще любой из нас, позарился бы на них после американцев, ты что!

Тут есть над чем подумать.

ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

В 60, 70, 80-е годы прошлого века было очень и очень престижно быть членом творческого союза. И очень даже выгодно. Особенно все мечтали стать членами Союза писателей. И даже не от того,

что был могучий Литфонд, писательская поликлиника, дома творчества, материальная помощь, прочее, нет, главное, было почетно: член Союза писателей. Звучит.

Кандидат в члены Союза проходил испытательный срок. Вот он принес книгу свою или две, плюс к тому собрал публикации по газетам, журналам и сборникам. Ждет очереди, иногда полгода-год, обсуждения своих трудов. Но не сразу в приемной комиссии, вначале в секции прозы, поэзии, критики, драматургии. Там рубка идет страшная. Члены бюро секций: прозы, поэзии, критики, перевода — люди важные. Все разберут, все рассмотрят. Выслушают поручителей, нужны были три рекомендации от членов Союза со стажем не менее пяти лет, все рассматривалось с пристрастием. В секциях работы соискателей читали два рецензента. Потом шло обсуждение, потом секция голосовала, голосование было тайным, за то, чтоб принять или не принять. Принять? Только тогда документы шли в приемную комиссию. Тут опять ждали очереди. Тоже долго. Перескочить очередь было практически невозможно, за этим следили. Я сам все это прошел, эти два с лишним года ожидания.

И вот я уже сам — член приемной комиссии. Нас человек тридцать. Ходим мы на заседания усердно, ибо понимаем — решаются судьбы. Сразу сообщу, что очень редко они решались объективно. Чаще всего работает принцип: наш — не наш. Талантливый — не талантливый — дело десятое. Примерно половина членов комиссии — евреи, половина — мы. Ни они без наших голосов, ни мы без их не можем провести своего кандидата в Союз. Так что приходилось и им, и нам уступать друг другу. На каждом заседании (раз в месяц) рассматривается дел пятнадцать-двадцать. Конечно, это много. Но куда денешься — очередь огромна.

Каждое дело докладывали те, кто читали представленные труды. Читали обычно двое. Голосовали, опять же, тайно. Были и спорные дела. Например, книжка понравилась, никто не возражает против приема. Но очень мала. Может, у автора пороха хватило только на одну. Решаем: подождать до следующей. Решение не обидное, хотя в те времена ждать следующей приходилось годами. Сошлюсь на себя: у меня первая книга вышла в тридцать три года, а следующая — только в тридцать шесть. Но тут ведь и закалка писательского характера происходила, тоже важно.

А иногда бывало обескураживающее одних и радующее других решение: все хвалят принимаемого в Союз, а вскрывают урну — он не проходит. Нужно набрать более половины голосов. Более. А если половина проголосовала против, то вывод ясен. Бывали случаи, когда комиссия соглашалась принять решение открытым голосованием. Например, так приняли в Союз композитора Богословского. Многим претило то, что он, непрерывно мелькающий на экране, член и Союза композиторов, и Союза кинематографистов, еще захо-

тел называться и поэтом и за тексты своих песен войти в наш, естественно, самый главный Союз. Несколько раз зарезали. Проходило время. Кто-то там на кого-то давил, документы возвращались с добавленными очередными текстами. Что делать? Голосовать открыто. Голоснули. Мол, уж ладно, будь.

И еще одно открытое голосование помню. Поэт Саша Красный. Этому Саше было сто три года. Я не оговорился, сто три. И вот собрался в Союз писателей. Секция поэзии за него просила, Ленина видел. Красный, конечно, псевдоним, он из плеяды Голодных, Беспощадных. Была представлена и оглашена некоторыми частями его поэма «Почему и на основании каком Дуню Челнокову не избрали в фабком?». Лучшее было бы не оглашать. После молчания решили: а вдруг умрет, если не примем. И на основании каком не принять — Ленина видел. Голосовали открыто и даже весело. Думаю, это продлило ему жизни и усердия в поэзии.

Одного открытого голосования я был виновником. После очередного заседания комиссии ее председатель подозвал меня и дал для прочтения три тонюсенькие книжечки из серии «Приложение к журналам “Советский воин” и “Советский пограничник”». Как-то виновато просил доложить о них в следующий раз. Я прочел. Это было нечто. Автор — женщина. Она живет в сильно охраняемом доме высокопоставленных лиц, ей очень одиноко, она тоскует по общению с народом и находит его в разговорах с дежурной в подъезде. И дежурной, и нам, читателям, жалуется на жизнь: как ей трудно блюсти порядок в многокомнатной квартире. Муж ее все время в командировках.

До заседания я подошел к председателю и сказал, что это ни в какие ворота.

— Но ты все-таки рекомендуй, — попросил он.

— Но если бы у нас была секция очерка хотя бы, тогда бы еще куда ни шло.

Председатель оживился:

— А ты предложи ее создать.

Я так и стал докладывать. После первых моих слов, что представленные «Приложения» никуда не годятся, от меня стали отсаживаться члены комиссии. После вторых, что и речи быть не может о принятии автора по разделу прозы, я остался один по эту сторону стола.

Меня это удивило, но я закончил:

— Может быть, когда в Союзе будет секция очерка, давайте вновь вернемся к рассмотрению. И пусть кто-то другой прочтет. Отзыв прилагаю. По-моему... беспросветно.

Тут кто-то, сославшись на то, что у него слабый мочевого пузырь, что все об этом знают, выскочил из комнаты.

— Предлагаю открытое голосование! — воскликнул дружно поддержанный председатель. — Кто за то, чтобы принять в члены Союза писателей такую-то?

Изумительно было то, что все были за. При одном воздержавшемся, то есть это я воздержался. После заседания, когда я пытался узнать причины столь дружного единодушия, от меня шарахались. И только потом один из наших, наедине со мной, разъяснил, что авторша эта не кто иная, как жена первого зама председателя Комитета госбезопасности.

В моей жизни, по его мнению, наступили невеселые времена. Но все обошлось. По стечению обстоятельств этот первый зам вскоре застрелился в самолете, возвращаясь из Афганистана. Но не от того же, что жена стала членом Союза писателей.

Хотя эти три случая не были типическими. Как-то договаривались. Например, евреи протягивают в Союз способного Илюшу. У нас на подходе талантливый Александр. И им хочется нашего Александра за-

резать. Но мы им говорим: зарежете Сашку — Илюшу утопим. И благополучно проходили и Саша, и Илюша. Иногда приходилось кем-то жертвовать. Мы — престарелыми, евреями — переводчиками. Секция переводчиков практически была еврейская, но предложение выделить их в отдельную ассоциацию при Союзе писателей было бурно отклонено.

Итак, довольные с пользой для литературы проведенным временем, мы интернационально выходили из помещения парткома. Именно в нем проходили заседания. Но сразу уйти домой было практически невозможно, ибо путь к раздевалке лежал через ресторан. А там уже страдали от великого ожидания те, чьи дела сегодня рассматривали. Надо ли говорить, что нас хватало и тянули сестры за обильно накрытые столы и столики.

А желудки, в отличие от голов и убеждений, не делились на национальности.

РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ

До чего же жалко женщин! Как только ни изощряются, чтобы быть красивыми да привлекательными. Тут и наряды, и прически, и диеты, и всякие фитнесы, косметика без передышки... Все это полная глупость.

От возраста, от морщин не убежишь. И чем ты более цепляешься за попытки быть красивой и думаешь без конца об этом, тем быстрее муж от тебя убежит. Да и как с такой эгоисткой жить?

А как быть?

Очень просто — надо стать женственной. А женственная женщина любима и желанна в любом возрасте. А как этого добиться? Очень просто — надо любить мужа. Верность мужу награждается красотой и долголетием. Ведь даже только от взгляда любимого и любящего мужчины женщина хорошеет.

«ОСТАВИЛИ В РЯДАХ»

Упоминание о комнате парткома в Доме литераторов вызвало в памяти два его заседания, два персональных дела двух коммунистов: Солоухина и Окуджавы. В их членстве я совершенно не усматриваю никакого криминала, и Шолохов был в рядах, и я тут же присосежусь. Представлять же, что членам КПСС было легче жить, — это заблуждение. Я не только был членом, но и всегда, по причине своей пассионарности, ходил в начальниках, то есть избирался в секретари, в бюро, в парткомы. Хотя и не рвался, и не высовывался, но вот это — не могу молчать и поиск справедливости в открытой борьбе меня подводили. Приходил в новый коллектив, сидел тихонько на собраниях, читал нужную книгу или рукопись, слушал краем уха, а в какой-то момент не выдерживал и просил слова. И что? И вскоре избирался. А какие, кстати, были привилегии у нас? Ходить на субботники? Дежурить в народной дружине? Взносы платить? Ездить в самые

трудные командировки? А уж что касается общественной писательской жизни, это было такое сжигание нервов, такая трата времени! А сколько врагов наживалось? Никто, например, не хочет читать скандальную рукопись, на нее уже было пять отзывов, два хороших, два плохих, а пятый и за, и против. Но есть подозрение, что хорошие отзывы писали дружки-приятели автора, а плохие — его завистники, так заявляет автор. Дают рукопись мне, клянутся, что все будет анонимно. Но, конечно же, авторы всегда узнавали, кто о них и как отзывался. И таких случаев было много. Я всегда писал отзывы без оглядки, писал то, что думаю. Чаще всего приходилось, что называется, резать, и что, «зарезанные» меня начинали любить?

Но вернемся к тому заседанию.

В названии рассказа использованы широко известные слова Владимира Солоухина после обсуждения его дела на парткоме. Его разбирали за публикацию рас-

сказа «Похороны Степаниды Ивановны» в Америке, в издательстве, помню, Профера.

Владимир Алексеевич и не думал виниться.

— Рассказ Проферу я не передавал, но здесь предлагал его нескольким журналам.

О деле Солоухина больше может рассказать писатель Юрий Поляков, он им, по заданию парткома, занимался.

Я же был свидетелем выхода Солоухина в зал ресторана, где он, усевшись за трапезу, сообщил соратникам:

— Оставили в рядах.

Но стоит поведать и о другом персональном деле, о деле по провозу в нашу страну порнографической продукции членом КПСС Булатом Окуджавой. Тут все было непросто.

Известный бард, песни его поет молодежь, и не только. Еще до обсуждения, пока Окуджава в коридоре ждал приглашения, секретарь парткома сокрушенно сообщил, что в райкоме уперлись и требуют для назначения прочих исключить коммуниста за такую тяжкую провинность, что на них доводы о знаменитости не действуют. «Ну и что, что знаменит, тем более».

— Крови жаждут, — закончил сообщение секретарь, осмотрел нас тоскливым взглядом и просил секретаршу просить обсуждаемого войти в помещение парткома.

Интересно, что это тогдашнее событие, а это было событие и очень громкое, теперь представляется мелочью: подумаешь — три-четыре кассеты да журналы с похабщиной, их теперь на каждом углу кучи. Даже и восхититься можно поэтом, как далеко вперед смотрел, боролся за либеральные ценности, чтобы каждый мог удовлетворить свои запросы. Хотя когда зачитали список перехваченной кино-, фото- и журнальной продукции, он был внушителен. Оглашать не хотели, но пришлось. Представитель райкома, не очень-то ласково нас иногда озирающий, сказал, что полагается. Потом дали слово Окуджаве. Особенно его возмущало то, что вещи шмонали и протокол писали те же таможенники, которые выпускали из Союза.

ВЫПАЛО ИЗ БУМАГ

В завалах записей, которые уже бесполезно разбирать, все же встречаются иногда какие-то листочки, которые немного жалко. Вот этот листок, совсем истертый. Он — один из нескольких, которые исписал большим белым стихом об ораторах перестройки. Помню позыв к этому стиху: по телевизору настойчиво показывали «Броненосец “Потемкин”», который, как представили в начале, «является лучшим фильмом всех времен и народов». Прямо Сталин какой-то киношный. Фильм,

— До этого неделю назад автографы просили.

То есть какие неблагодарные оказались. Старейший член парткома, боевой летчик Марк Галлай сокрушался и все повторял:

— Мы вас так любим! Но зачем же это вам, а?

— Не себе вез, просили.

— Кто? — сурово спросил представитель.

— Так, молодежь, знакомые.

Началось обсуждение. Выступления были однотипны. Да, нехорошо (следующий: очень нехорошо!), у нас не гнивающий капитализм, но проступившийся — наш товарищ, фронтовик, поэт — песенник, с ним такое впервые, больше не повторится, мы в этом уверены, мы не можем потерять своего соратника, и все такое ответственное.

Вообще, у меня к поэту была и своя претензия. В одном из романов он написал такую фразу: «Плоское лицо тупого вятича». Именно вятичем я и являлся, а со мною и все миллионы наследников этого древнерусского племени. Я возмущался, но среди своих, а тут мне его было жалко, хотелось поскорее закончить это мучительное для всех заседание. Вот сейчас пишу, и стало вдруг совсем неинтересно. Зачем? Тем более теперь, когда все так давно было. Бог ему судья.

Окуджаве помогло как раз обсуждение Солоухина. Как известно, Солоухину закатали строгий выговор с занесением в учетную карточку. Но не исключили же. И этот довод убедил, кажется, представителя райкома, когда мы оговаривали степень взыскания. Уже без Окуджавы. Его просили выйти в коридор, и он там сидел, ожидая решения. Члены парткома были далеко не дети, понимали, что публикация смелого, честного рассказа о похоронах матери, когда сельский священник чуть ли не тайком отпевает великую труженицу, православную женщину, и провоз порнографии — две большие разницы, все-таки ограничились тоже строго, тоже с занесением.

— Эх вы, — смеялся потом Солоухин, — что ж вы меня не исключили? Дали бы мне Нобеля.

конечно, более чем простенький, заказной, лизоблюдский перед большевиками. Ну, лестница, ну, коляска. Но читать титры интересно. Матрос говорит священнику: «Отойди, халдей». Далее омерзительный кадр — православный крест именно книзу головой втыкается в палубу. Но некоторые титры насмешили. Цитирую: «Охрипшие от непрерывных речей глотки дышат трудно и прерывисто». Я без сожаления переключился на другие телеканалы. И на всех были такие же революционные глотки.

Особенно надрывались и учили нас жить приехавшие миссионеры. Ради улыбки я тут же и написал стих «Охрипшие глотки». Жаль только, сохранился один еле читаемый (вытертый карандаш) отрывок — листочек.

ОХРИПШИЕ ГЛОТКИ

...Все по кругу кричат — выражаются,
Обсуждают, склоняют Россиюшку.
И кричат тут писцы израильские.
К ним пристали, примкнули, примазались
Удалые спецы словоблудия,
Докторанты школ демагогии, и схоластики, и софистики,
Ай, велики мужи болтологии.
Ай, любители все словопрений.
Хлебом их не корми, дай трибунничать,
Дай ты им дураков околпачивать,
На критическом вече покрикивать,
И барыш на сем крике наращивать.
Вот зачали зомбировать зрителей
Языков своих долгодлинием,
Да заморских мозгов производством.
Что ни брякнут, все им мы не по сердцу,
Что ни сбредут — все против России то.
Прибежали хохлы им подвякивать,
Приезжали поляки подвизгивать,
Расплодилась кругом мериканщина.
Очень ей по нутру задолизию,
Да вдобавок и недра российские,
Да в придачу мозги наши русские...

Не поэзия, конечно. Но насчет правды жизни все верно. Уж очень тогда, в конце 80-х — начале 90-х — навалились на нас общемировые ценности. А по мне, где общемировое, там и масонское, а где гуманитарное, там нравственный фашизм. Это же все без Бога, а значит, бесчеловечно.

Одно спасительно: навалившись в конце 80-х, в 90-е, они вскоре и выдохлись, и устали. А скорее всего то, что их перестали слушать, и вся болтовня их пошла на ветер. «Эхо Москвы» надрывается, держит какую-то свою публику, но ведь это тоже шелуха.

* * *

Как-то остро вдруг вспомнились писательские Дома творчества, в которых был счастлив тем, что работал. Пицунда, Ялта, Малеевка, Голицыно, Дубулты. Уже и не побывать в них, все продано, разворовано, да и не надо, развалины прошлого не вдохновят.

Ялта была первым Домом творчества, писал «Живую воду» в 72-м, заканчивал в Малеевке в 74-м. В конце 80-х летел из-за границы, Москва была задымлена, не принимала. Взлетали, садились. Посадили в Симферополе, повезли ночевать в Ялту. У меня уже и копейки не оставалось, и я решил добежать до Дома творчества, уверенный в том, что все равно есть же там кто-то знакомый. Был. Один. Он накинудся на меня, обнимал, тискал, дышал и просил хотя бы на бутылку.

ДИКТАТУРА ВОРОВСТВА

Совершенно бесстыдно разрушение Советского Союза было названо перестройкой. Именно «благодаря» ей в России установилась диктатура воровства. Воровать стало совсем не стыдно, даже доблестно. «Горбольцы», как назвал новых хозяев народ, крали заводы, фабрики, комбинаты, земли, леса, называя все это на своем уголовном жаргоне приватизацией. Крупные ворюги вошли во властные структуры и сразу же вырастили угодное себе чиновничество и депутатство. То и другое и хозяевам помогало и само быстро выучилось жить хорошо. Ну-ка, пойдти к чиновнику без подношения. Ну-ка, попробуй, не отстегни ему, ну-ка попробуй без отката. «Как? — раздаются возмущенные голоса. — У нас же борьба с коррупцией!» Смешно. Ответьте на вопрос: кто громче всех кричит «Держи вора!»? Правильно. Сам вор.

Еще вопрос: почему именно в России вольготно ворюге? Потому что в России в основном православный народ, он доверчив, он знает заповедь: не копить

себе ветшающих богатств на земле, думать о том, чтобы спасти душу. Ну, как таких простодушных не грабить? Но ведь и ворье не бессмертно, и березовские, и чубайсы, и абрамовичи лягут в могилу, а она и у них тоже будет, и ни дач, ни островов, ни яхт в нее не утащишь. Но души даже и у них бессмертны. И любой из нас увидит, в свой срок, за гранью земного, возмездие российскому ворюгу.

Так что воруйте на здоровье, собирайте себе горящие угли на голову. И не думайте, что это вы сами такие умные да хитрые, нет, вы земные слуги — пешки в руках сатаны.

Сегодняшняя пятая колонна в России — это обслуга врага нашего спасения. Бесов телевидения, эстрады, киношников, газетно-журнальных писак — все это танцующее, играющее, обзривающее, пишущее стадо, внедряющее в Россию разврат, пошлость, насилие, может быть, можно было и пожалеть ввиду ожидающей их страшной жаркой черноты ада, но уже не хочется.

Сто раз их развразумляли, все неймется. Ну что ж, кошка скребет на свой хребет.

Итак, страну разворовывают, но, по большому счету, сатане плевать на золото, на никель, на нефть, цель его одна — оттащить Россию от Бога. Но православная душа никогда не вытерпит и не примет посягательство на святых. Разве в Великую Отечественную отцы и деды воевали за Ленина, за Сталина? Воевали за Святую Русь, за спасение своих душ. И какой был взлет прихода людей в Церковь.

Вот и нам, их наследникам, пришло время битвы за православное Отечество. Оно, как и любой из нас, в плену. Закабаление, подчинение воле мирового зла происходит через зримые, материальные вещи. Вот я отказался от ИНН, а приходит оплата за квартиру, и там этот ИНН проставлен. Но все мало врагу, хочет окончательно загнать всех нас под колпак и полностью заставить жить по дьявольскому расписанию. Сколько получил, куда пошел, где был, что купил, все про нас надо знать. А то, что права личности нарушены, да плевать на это бесы хотели. Конечно, я говорю об электронных картах.

В Московской областной Думе обсуждали вопросы их внедрения. И обсуждали так, что сами карты — это дело решенное, что есть только кой-какие особенности.

И вот сидят депутаты, чиновники, вроде нормальные люди, в галстуках. А на деле это уже не люди — роботы. Им кажется, что это они сами так думают, что карты нужны, что без них Россия вымрет, но вот же им возражают, говорят дельные вещи, что как раз с картами Россия вымрет гораздо быстрее, нет, не понимают. Они обязаны отработать зарплату. А то, что зарплату им обеспечивают те, кого они унижают и оскорбляют этими картами, они не понимают. Или притворяются, или, что скорее всего, куплены. Они — опричники системы. Долдонят: проводили опросы — пятьдесят процентов за, восемнадцать против. Но знаем мы, как эти опросы проводятся, знаем мы, как у нас голоса считают. А эти восемнадцать процентов не люди? Да и эти пятьдесят, если бы знали весь ужас внедрения электронного слежения за людьми, они бы отказались. Галина Царева как раз об этом ужасе говорила. Умно, спокойно, доказательно. Я глядел на чиновников, на их скептические, непроницаемые лица и вспоминал пословицу: им плюй в глаза, скажут: Божья роса.

Они же глядели на нас, морщась от ожидания: да когда же эта общественность уйдет, все же решено, чего же они еще трепыхаются? Карты эти были условием вступления в ВТО, вступаем — получайте карты. Ну, еще дадим подышать до начала 2014-го, там — баста, ложитесь и помирайте, а мы и рады, вы нам жить меша-

ете. Я уверен в том, что антиправославные, антирусские всплески усиливаются именно от того, что враги России тонко улавливают полное равнодушие правительства к судьбе народа.

Смотрите сами: в России тихой сапой, то есть по-подлому, свершены еще два антинародных дела. Первое: теперь у нас села, города, поселки, деревни — это все называется одним словом: п о с е л е н и я. А поселение напоминает приснопамятное спецпоселение — огороженное, охраняемое пространство. И жить в поселении, а не в селе, не в городе — оскорбительно для сознания.

Второе: в чем разница между полицией и милицией? Очень большая. Милиция присягала на верность народу, полиция правительству. Перемена значительная. Она показывает трусость властей, их нелюбовь к народу. Только что у метро «Охотный ряд» азиатский или кавказский человек всучил мне блестящую книжечку. Гляжу: «Флирт», раскрыл — мерзость — телефоны и фотографии проституток. Как раз рядом проходят два полицейских, подполковник и майор. «Глядите, это же в двух шагах от Кремля». А они что? Заохотали: «У каждого свой бизнес». И пошли. Чего им не хохотать над стариком: у них зарплата больше моей пенсии раз в пятнадцать.

Нет, нас за людей не считают. Но ведь именно мы определяем духовную мощь России, ее главную силу. Вспомним приход к нам Пояса Пресвятой Богородицы. Думаю, что либеральное «болотное» кваканье было испуганной реакцией на всенародное поклонение общеправославной святине. Как ни надували лягушку болотного митинга, в вола она не превратилась.

А дальше? Дальше будет больше нападков на все русское, православное. Тем более врагам России, внешним и внутренним, есть чего испугаться, имею в виду молитвенное стояние в защиту православных святых. Оно же было по всей стране, а не только у храма Христа Спасителя. Будет больше передач, унижающих и опшляющих историческую Россию. Предсказываю, что так называемое Общественное телевидение будет антиобщественным. Оно будет оправдывать мерзости экрана тем, что на любые передачи есть зрители, что не хотите — не смотрите, а нам не мешайте развращать молодежь.

И еще: меня даже не то оскорбляет, что электронные карты усложнят жизнь, а то, что государству плевать на наши возражения. Оно же обещало мировому правительству, что загонит «россиян» в электронный концлагерь, вот и загоняет. А нам без передышки врут, что их цель — сильная и независимая Россия. Какая ж независимая, когда вы руки по швам перед мировым правительством? И какая же сильная, если не может быть независимой?

ЧУДО КАК НОРМА

Кто впервые идет на Крестный ход, обязательно поражается тому, как на чистом небе, даже и не после дождя, возникает и сияет огнецветье радуги.

А кто постоянно ходит, этому не удивляется. Чудо? Да, чудо. Но это же Крестный ход. Господь видит наши труды, наши молитвы слышит, посылает утешение.

А бесчисленное количество раз бывало, и бывает, когда в пасмурный день берешься читать Послания или Евангелие или становишься на Акафист, и вдруг освещается пространство комнаты светлыми лучами.

И всегда явное чудо бывает, например, при освящении храма, Креста, при закладке церкви. Вдруг, в добавление к окроплению, с неба падают животворные капли дождя, хотя никакого дождя не ожидалось и туч не было.

То есть все просто напрямую говорит нам о Божиим присутствии в мире, в нашей жизни, в жизни каждого из нас.

Какое же это чудо, так оно и есть: под Богом и перед Богом ходим. И нечему тут удивляться.

Продолжение следует.

